

ПОЛЕМИКА

А.Драгомощенко

Ролан Барт, дьявол и Господь Бог

/несколько замечаний к одному тео-
Лого-лингвистическому опыту/.

Нельзя угадать, как функционирует слово. Нужно взглянуть на его употребление и узнать это оттуда.

Людвиг Витгенштейн.

Надменные, лживые, вызывающие, вечно "разыгрывающие свою природу", дерзостные, недосыгаемые как кривые зеркала Бандер-Логи, неподвластные — подумать только! — даже Закону Джунглей, все же однажды потерпели фиаско. Великий мастер своего места и времени старый питон Каа очаровал их... и съел.

Как такое могло произойти?

Случилось это следующим образом — питон стал для них танцевать. Мелькали петли, восьмерки, мягкие, расплывчатые тругольники, переходящие в квадраты и пятиугольники... становилось темнее и уже ничего нельзя было разглядеть, — пишет Киплинг, — кроме того как извивается и свищется Каа.

Нечто подобное переживал на первых порах и я при чтении статьи — а диалогом это назвать невозможно — принадлежащей Г.Биневичу и А. Шуфрину Человек в обществе, слово в контексте, невзирая на категоричность задания заголовка, без труда разворачивающего свою метафору в одну из известных притч хасидов о тождестве буквы в Тексте — человеку Народа, о сакрально заданной нерасторжимости нации как целого, существующего за счет непреложного соблюдения Закона, который открывает трансцендентный Смысл народа как нерасторжимое единство и союза с Богом. Собственно, можно было бы и не продолжать, остановясь на том, что мы встречаемся с еще одной попыткой описания ситуации: знак и "иное бытие", проблема истинности в передаче этого бытия знаком.

Однако, поскольку при чтении нас всегда, — а я имею в виду философствующие тексты, — интересует установление

точного объема понятий и их исполнительность, равно как и исполненность, а догадки имеют обыкновение таять, как бы порой они ни были пленительны, я принял приглашение разобраться в различных шри треугольниках, петлях и прочих конфигурациях мысли, претендовавших вне всякого сомнения в чем-то на роль магическую, цель которой, как известно, состоит в изменении "профанического" пространства рассматриваемого предмета — языка и его бытия в нашем случае — посредством введения испытанных универсалий, чей порядок тем очевидно обнаруживает определенную концепцию, — вопреки тому, что язык статьи в "его собственном бытии" угрожал затопить меня прянной тьмой, обещая превратить едва ли не вгласные наполнения тетраграмматона, чтобы не сказать в некую СУЩНОСТЬ-ЛОГОСА-ДУХА-И-ВСЕ-БОЛЬШИМИ-БУКВАМИ.

Возможно, что такое в конце концов бы произошло, когда бы не одна пустячная ириши вроде мелочь, служебное вроде слово, прилагательное и только, — пустяк, "одним словом", но властно потребовавший от меня "взглянуть на его употребление, чтобы узнать, откуда оно".

Давайте же вознесем хвалы случайностям, мелочам, чья роль порой сравнима с ролью критических точек, разносящих вдребезги толстые в своей незыблемой завершенности системы. (Смотри анализ функции-приблизительно-такой же детали за несколько десятков страниц до статьи). Но мы приступаем к чтению, к следованию некоторым положениям текста, чьи странные метаморфозы, отнюдь не поэтического свойства, понуждают меня изумляться как читателя, избавившегося, к счастью, от покорного оцепенения.

Я не стану заострять внимания на понятиях не-по-стиль, ибо такового не существует так же как, вероятно и сверхстиль. Не стану я также останавливаться на том, как авторы берут быка за рога в конце лабиринта, то есть — в начале статьи, предлагая нам первым условием мир как непререкаемую оппозицию. Не буду касаться свидетельств, носящих на мой взгляд, чисто орнаментальный характер, и самих свидетелей — (каждый волен выбирать себе свою компанию) — хотя, признаюсь, имена их тоже складываются в довольно причудливый орнамент — Бог, дьявол, Любимый поэт, он же Мандельштам,

Кривулин, Драгомощенко, Надежда Яковлевна и м вкупе с Роланом Бартом и другие. На ум невольно приходит старая детская игра — грузить корабль.

Конечно, есть время грузить корабль и время его разгружать. И, скажем, есть время плавания, а оно — не секрет — зачастую сопряжено с некоторыми трудностями. Тут не лишним в качестве риторического отступления будет напомнить известное рассуждение о корабле Аргонавтов. За время плавания части корабля приходили одна за другой в негодность, заменяясь постоянно новыми, покуда корабль Арго был не изменен полностью. Спрашивается: пристал ли к берегам Колхиды тот же корабль Арго, который покинул берега Греции?

Между тем, путаница случается не только с кораблями. И с картами лоциями. И право, я не без оснований смущаюсь подчас ликующими криками "земля", потому как по опыту знаю, что чаще вместо этой "знаковой" земли возникает какая-то уходящая за горизонт болотистая отмель.

Но не здесь лежит начало нашего следования. Оно начинается в изначальной разделенности, а точнее в разделенности мировосприятия. Что же делать читателю, по тем или иным причинам не принимающему такой диспозиции? В таком случае, мы полагаем, статья не сможет актуализироваться в его опыте. Справедливо ли это? Разве не принцип согласия, как понимания, определяет наше желание узнать поднимет ли Хома Брут глаза или не поднимет? И соглашаясь, мы не ждем, а ищем причину настоящего в предстоящем.

И что я нахожу? Слуг дьявола и рабов Божиих. Слуг дьявола, "связанных" с этим миром и потому несвободных, потому-то и получающих за свою связанность вознаграждение. Так сказать, за пользование этими благами.

Каково же вознаграждение слуг? Деньги. Слава. Маловато. Впрочем, для избранных существует нечто более изысканное.

Грамматически обусловленная неясность, тем временем не позволяет с точностью определить, кто именно имеется в виду. Но, судя по всему, заявление, сделанное авторами,, статьи, относится к ним же. Они — слуги дьявола — в качестве вознаграждения предпочитают "равнодушие ясной мысли,

ближнее к наслаждению", причем нам не отказано счастье высказывание риторической фигурой самоуничижения, как того взыскивает закон жанра.

Но так ли равнодушна и ясна мысль, наслаждение которой избирается Григорием Биневичем и Аркадием Шуфранным вместо грядущего блаженства "подлинно свободного слова"? И я прикидываю: равнодушна — стало быть, распределена равно; — стало быть, следует равно миру и себе, подчиняясь разворачиваемому в себе по отношению к нему знанию. Равнодушна — поскольку не испытывает привязанности и не отдает предпочтений. Поэтому и ясна, что не замутнена ... Я, так как я для нее такой же объект, как и запятая, вовремя не поставленная в тексте. И если дело обстоит хотя бы приблизительно так, то, бесспорно, в ходе рассмотрения даже одного из рядов предложенных мне положений (во многом тяготеющих к выводам), у меня ни в коей мере не должно возникать и тени сомнения. Но они, к сожалению, есть.

"Чем шире контекст, в котором участвует личность, тем неподдельнее ее свобода" — читаю я. И задаюсь вопросом, — каков он контекст, что из себя представляет, каковы его связи, определяющие и делающие его таким в настоящее мгновение, а в следующее иным? Ответ не заставляет ждать. Без промедления я узнаю, что контекст Мандельштама — как личности — это страна, а Христа, (тоже, вероятно, как личности) — контекстом является человечество, церковь умерших и живых. Оставим на время в стороне вопрос о свободе Христа. И, исполненные согласия, мы на мгновение задумываемся над тем, что страна слишком уж обширное понятие, песенное, туманное. В самом деле — этнос? язык? история? религия? границы? какие-то люди? а они что? какие?.. но не успеваем мы толком сосредоточиться на чем-то одном для начала, как на наших глазах операциональное поле редуцируется в сообщество друзей, которые как выясняется в результате этимологической деконструкции по Фасмеру — суть "блуждание", "однокоренные", "из одного корня", как "искренность".

Попробуем еще раз прокрутить этот эпизод, но гораздо медленней. Итак, чем шире контекст — тем неподдельней

Свобода. Допустим, что "контекст", вернее, значение слова "контекст" как страны -- фиктивно, так как оно не отвечает нашим требованиям. И потому значение уточняется, чтобы не сказать -- меняется целиком. Теперь контекст, как сообщество друзей, вполне удовлетворяет "равнодушную" мысль и позволяет ей развиваться дальше. Таким образом сообщество друзей -- предстаёт понятием наполненным невыразимой, сокровенной властью, позволяющей ему быть истинней, приближенней к некоей конечной истине, нежели упомянутая доселе понятие страны. Было бы наивным не усмотреть здесь подготовку последнего решающего понятия -- "соборность", с которым нам доведется встретиться позднее...

Но что же тогда делать со "свободой" и "личностью Христа" в контексте человечества? Оказывается, что он, контекст чуть ниже также подменяется, не так явно, правда, -- группой избранных, друзей, близких, в которой Христос, участвуя как личность, обретает не поддельную, а истинную свободу, окончательный смысл, словно таковым не обладал изначально.

Здесь мы на некоторое время остановимся и я выскажу единственное пока замечание, которое состоит в том, что "буквально-буквенное" сходство, обнаруженное в процессе морфологической деконструкции слова "друг" не может претендовать даже на частичное описание правомерности подобных превращений одного в другое, предполагая иные возможные дополнения, о которых авторам статьи либо не известно -- что маловероятно -- либо которые они по-не вполне понятным мне причинам обошли молчанием. Например: в средние века секты христианских мистиков назывались Друзьями Бога в силу, видимо, других причин, чем речевое сходство. Позже они слились в Общество Друзей Бога. К тому же не надо забывать, что в индуизме существует понятие Бхакти, переводимое как путь цветения к Богу, предусматривающее пять ступеней восхождения, третья из которых есть -- "дружба". Не приходится говорить и о градациях, различиях, удомянутой авторами любви в именах: Эрос-Агапе-Филия. И вряд ли стоит полагать во главу Угла или пытаешься это сделать -- как бы сама собой разумеющуюся, навеки застывшую истину, подобно кладу залегающему в

корнях языка-речи, отрыв которых, мы овладеем ключом власти к тайне таких понятий как дружба, близкий, искренность, подкупаясь рисунком мимолетного сходства, мелькнувшего однажды в речи, впервые нащупывавшей идеи горы перехода — если следовать Гуссерлю — "от абсолютно незaintересованного /отвлекающегося в эпохе от всех практических интересов/ взгляда на мир /~~ж~~знания, основанного на универсальном совершении/ к научной теории."

Вслед за тем я читал, что "мы подошли к теме". И все, о чем мы говорили оказывается совершенно не таким как мы представляли. Мы узнаем, что личность — ни что иное как маска, личина. А так как текст дает нам возможность вернуться назад, обладая прошлым в настоящем, будучи письмом — то вследствие произошедших уточнений подмен фразу на 75 стр. оказывается возможно читать следующим образом: "Чем шире сообщество, круг друзей, в котором участвует маска, личина и т.д., тем неподдельней ее свобода. Маска Мандельштама участвует в контексте круга друзей. Тогда как маска Христа в контексте поначалу человечества, после чего опять-таки в кругу друзей — избранных".

— Нуждаются ли маски в какой бы то ни было свободе? — спрашиваю я явственно ощущая привкус какой-то смутной демонологии, но следую дальше предложенным мне путем, надеясь на то, что терпение моему все же воздастся. Однако, проясняется мысль, если Христос — Логос-Слово, произнесенное в падший мир, откровение Бога, то его роль — следя логике авторов — а мы знаем уже, что это маска и не более — неизбежно сводится к чисто репрезентативной функции знака — нет, не икона — а знака, связующего в ходе своего прочтения избранными этот мир с лежащим вне его Бытием Бога; сводится к знаку, замещающему здесь это непостижимое бытие, намекающему на него. По-иному телесная природа Христа должна функционировать наподобие материальности письма, закрепляющего слово. И еще по-иному — этот Христос означающее тесно связанное с трансцендентным референтом.

Конечно, тут следовало бы напомнить, что в богослов-

ской традиции существует стойкое понимание Церкви как Тела Христова. Что таинство евхаристии это, говоря кратко, таинство пресуществления, но отнюдь не воплощения. И опять-таки последуем дальше, упуская за недостатком времени то, "что поэт, подражая Христу, становится иди должен стать словом", последуем вплоть до того места, где нам говорится, что слово в которое входит личность само становится личностью, то есть — маской, причем "совершенно свободной", ибо "только совершенно свободная маска может войти в слово" и т.д.

Поскольку последняя операция не поддается этимологическим, равно как и другого рода анализам, оно именуется чудом. Слово между тем стало социальной ролью.

Но вряд ли я удовольствуюсь объяснением всех предложенных мне метаморфоз, завершающими их поэтическими пассажами сомнительного свойства — превращением связи в луч, человека в солнце, земли в рай, где люди как звезды. Меня не удовлетворяет драматургия Треплева. Точно так же как допущенная в том виде как она есть классификация типов личностей наряду с определением индивидуальности Далем. Меня уже, увы, не могут удовлетворить, вырезанные из бумаги куклы представляющие мистерии бесконечности.

И я перехожу к более твердой почве, к одной частности, к одному слову, ставшему импульсом моего первого подозрения. Я упоминал о нем в самом начале замечания и, наконец, нamerен более или менее доказательно рассмотреть его пускай не социальную, а только текстуальную роль.

Перед тем, как заняться этой деталью, представим себе некоторое продолжение мысли о "разыгрывании природы". Какова семантика слова разыгрывания, спрашиваю я у себя, и не имея в тексте статьи никаких указаний на этот счет, принимаюсь перечислять возможные значения, уповая, что рано или поздно ведущее из них станет на свое место. Разыгрывание или розыгрыш? То есть обман, намеренное без злого умысла введение в заблуждение кого-то, чего-то? Розыгрывание — как обнажение в некоем действии свойств, ранее, до разыгрывания, скрытых в нем. Или же разыгрывание — это расточение

чего-то, кого-то, бесцельное поименование, переименование чего-то, кого-то, может быть, предполагающее расширение их границ? Вне сомнения, нам, пребывая в размытости семантики этого понятия крайне затруднительно определить позицию. Но не является ли это в свой черед своеевременной иллюстрацией "разыгрывания" без малого как на двух страницах понятия "личность"? Действие разыгрывания, подсказывает грамматика, направлено субъектом на некий объект внеположный субъекту...

Или мы изберем близлежащее, непосредственное, данное в присутствии. Изберем текст, до которого слово ничего не значит, являясь только возможностью означать другое. Изберем один курьез, предприняв попытку разгадать таящуюся в нем случайность и ее теснейшую связь с заданностью.

2.

Вопрос: "Что такое в действительности слово" — аналогичен вопросу, что такая фигура в шахматах.

Л. Витгеништейн.

Речь пойдет об интерпретации авторами строки из моей Кухонной элегии. О фразе, следующей сразу же за приведенной строкой "Чай жил птенцом в узорной клетке чашки" — пример из поэзии Драгомощенко, где желтый чай жил как птенец / цыпленок что ли?/ в чашке с нарисованной на ней узорной клеткой, разыгрывая свою природу, природу клетки и чашки." Конец полной цитаты.

Во-первых, если бы Драгомощенко, а я в этом уверен, испытывал бы насущную необходимость написать о нарисованной узорной клетке на чашке, он бы смог это сделать, поскольку лексические добавления, привнесенные комментаторами, в сущности не являются словарными раритетами. Во-вторых, стихотворная строка, написанная ими, заведомо отличается как грамматической структурой так и синтаксисом, способом расположения значений во фразе, в данном случае в пространстве

ее отрезка, что представляется мне попыткой напялить шкуру медведя на скелет рыбы, а в итоге дать законченный, замкнутый свой смысл-строки.

Могу сказать, что прочтение неверно, что вовсе, впрочем, не означает будто я владею неким секретом или ее тайной. Сознательно или бессознательно авторы исследования добавляют прилагательное желтый. Их этом все дело.

Парадигма чая — в тексте выступающего в роли "семени цитаты" — замещается другой диаметрально противоположной парадигмой еды, насыщения, потому что чай желтым не бывает. Желтым бывает либо дурно заваренный чай, используемый в качестве дополнения к еде, либо спитой. И то и другое имеет весьма косвенное отношение к тому, что называется чаэм. Но парадигма понятия чай слишком разветвлена, чтобы мы смогли полностью ее описать. Напомню основные узлы. Чай и культура. Происхождение чая — его мифология. Чай в России. Собственная география чая. Символика и эмблематика церемонии чаепития — манифестация выхода из континуального потока наличного бытия, снятие неоппозиции, а дуальности я-мир. Атрибуты — чаша-котел-зеркало. Слияние янь-инь. Триада огонь-красное — вода-белое и медиатор чай-растение, раскрывающее свой черный цвет смерти, безжизненности в желательно цвет огня. Спектр цветовой чая, начинаемый с кирпично-красного и завершающийся опять-таки черным, знаменующим выход, сопредельную традицию его употребления — цифирь, способ изготовления, при котором освобождаются эфирные масла и уничтожается собственно дух чая — тенин, ясность, качество прояснения, но не опьянения-наполнения и галлюцигенного преображения мира. Даже при таком-бэглом обзоре мы можем убедиться, что вся знавшая модель чая и пития его кодифицирует мир в его как бы полном объеме. И что позволяет мне усомниться в энциклопедической компетенции читателя, а в противном случае в его нетенденциозности. Каковы же могут быть истоки ее? Я возвращаюсь к прилагательному желтый, которое тут кстати одарило значением птенца, значением явно травестийным.

"У каждого цвета своя семантика, — говорил Якобсон. — И это бесспорно. Цвет обладает своим паттерном /паттерн/, чтобы паче чаинки не сказать узор/, но это другое, что пробуждает

ет цвет, это его взаимо-связи, создающие определенные семантические стяжения. Да, существует достаточно мощная связь, с каждым шагом в ее изучении проявляющаяся все отчетливей."

В России желтый цвет никогда не был цветом положительного содержания. Его бесплодность в противопоставлении к синему-аленому была явственно выражена. Солома, пустыня, песок, где дьявол, смерть. "Там тебе быть, там тебе жить желтым песком пересыпать белые кости хрищеного имя рек покидать" -- заговор. Солнце было красным, белым, черным, очень редко золотым. Непримитив желтого сохранилось и выражалось в поздней литературе. Оно явно прослеживается и в поэзии начала века. Блок, Мандельштам. Глаза дьявола желты - о золото - зола. Рыжие коварны и якшаются с нечистым. Желтый цвет безумия и т.д. и т.п..

Следовательно бессознательное введение /или сознательное, что не важно/ прилагательного желтый может означать оценку, конкретизацию сопредельных единиц строки в качестве эпитета, более того, в качестве скрытой контраметафоры, порождающей образ цыпленка, тем самым переводя птенца из разряда неопределенности в разряд комфорtabельной узнаваемости, снимая возможность развития птенца в птицу, в иероглиф, знак, посредством ограничения его предельным образом домашней прирученной нелетающей птицы.

Почему же авторы не устраивает птенец-птица? Можно догадаться почему. Она всего-навсего знак, не замыкающийся на определенном значении. Она ни орел, ни ласточка, ни синица, не щегол. Она не символизирует. Она отказывается быть персонажем того или иного бестиария-символиума. Она в сущности только след, выдох одной из самых острых ультразвуковых гласных, пронизывающей три преткновения глухих согласных, уходящей затем в рассеяние множественного. Птица -- пустота знак, но созидающий мерцающий смысл пространства, неба, такого же пустого, и к которому, при всем желании, ничего не присовать. Птица -- точка. Птицы геометрия. Но одновременно с этим она несет в наше сознание смутную угрозу собственного возникновения. Эреб-Греция. Вестник смерти --

Веды. Где-то на периферии мы помним, что с ней связано гадание — ауспиции-убийство-Заболоцкий-Сэн-Жон-Перс, ось постижения будущего. Но довольно. Столь долгое отступление в область не языка было вызвано единственno только разрушением текста всей группы элегий, произошедшего не по моей вине.

Но мне этого вполне достаточно, чтобы прийти к следующим предположениям. При всей путанности изложения, статья Б. и Ш. довольно ясно и недвусмысленно предлагает модель мира как раз и навсегда сколоченного ящика, в котором среди множества ящиков должен находиться ящик, где будет окончательный смысл, где будет лежать последнее имя Бога.

До тех пор же, покуда человек не откроет этого ящика, до тех пор, покуда не обретет благодати, ему предстоит жить в мире, изобилующем всевозможными намеками на свою телеологичность.

"И стоит только приподнять знаки и посмотреть на что они указывают, как обнаруживается и начинает сиять собственным светом само СХОДСТВО." — человека и буквы, Христа и поэта, означающего и означаемого. И Фуко продолжает — Будем называть герменевтикой совокупность знаний и приемов, заставляющих эти знаки заговорить..."

"Литературу пытаются обнаружить за пределами того пространства, в котором она постоянно возникает и запечатлевается. Такие способы — продолжает Фуко — расшифровки восходят к классической ситуации языка, той, что господствовала в XII веке, когда строй знаков стал бинарным, когда литература и впрямь состояла из означающего и означаемого и заслуживала анализа как такового."

И дело здесь не во взаимосвязях слова — вещи. Означаемое не обязано быть вещью. Оно вполне может довольствоваться формой некой истины, вывода и прочим.

Но прежде чем закончить, я хочу привести одно суждение того же самого Ролана Барта: "силы свободы, заключенные в литературе, не зависят ни от политической ангажированности, ни от общественного лица писателя, ни даже от идеологического содержания его творчества — они зависят только от ра-

боты по перемещению, которую он осуществляет внутри языка".

Добавлю, что к сожалению перемещения, коим я стал свидетелем как читатель статьи выявили гораздо меньше свободы, нежели можно было предположить. Но это уже другой вопрос, касающийся приключений деревянного шахматного коня.

